

Глеб Иванович Успенский

**«Перестала!» (Из  
деревенских заметок)**



Через пень-колоду

Глеб Успенский

**«Перестала!» (Из  
деревенских заметок)**

«Public Domain»

1885

## **Успенский Г. И.**

«Перестала!» (Из деревенских заметок) / Г. И. Успенский —  
«Public Domain», 1885 — (Через пень-колоду)

«...Более десяти лет не видал я этого Михайлы, и теперь, когда он меня опять вез по той же самой дороге и в те же самые места, где много лет назад и мне с моими близкими и Михайле со всеми нами было так хорошо жить, — оба мы, встретившись после долгой разлуки, жадно стремились поговорить друг с другом «по душе»... Однако и мой вопрос и Михайлин ответ вышли как-то официальные и сухи, и даже конфузливы, несмотря на то, что нам обоим хотелось завязать самый душевный, самый настоящий разговор. И такой разговор непременно бы завязался у нас, если бы у меня хватило духу начать его с вопроса о самом существенном и важном для нас обоих деле и вместо ничего почти не означающих слов: «Как ты поживаешь?» прямо бы спросить:— Ну как ты, Михайло, теперь с женой живешь? Перестала ли она мудрить, бунтовать?...»

## Содержание

1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	8

# Глеб Иванович Успенский

## «Перестала!»

### (Из деревенских заметок)

#### 1

– Ну что же, Михайло, как же ты поживаешь? Как твои дела?

– Ничего! Слава богу!.. Теперича ничего; живем помаленьку!

Более десяти лет не видал я этого Михайлы, и теперь, когда он меня опять вез по той же самой дороге и в те же самые места, где много лет назад и мне с моими близкими и Михайле со всеми нами было так хорошо жить, – оба мы, встретившись после долгой разлуки, жадно стремились поговорить друг с другом «по душе», поговорить долго, много, откровенно, как «говаривали» в старину мужики, освободившиеся от господ, и господа, стремившиеся «из господ» если не в мужики, то хоть к мужикам. Однако и мой вопрос и Михайлин ответ вышли как-то официальные и сухи, и даже конфузливы, несмотря на то, что нам обоим хотелось завязать самый душевный, самый настоящий разговор. И такой разговор непременно бы завязался у нас, если бы у меня хватило духу начать его с вопроса о самом существенном и важном для нас обоих деле и вместо ничего почти не означающих слов: «Как ты поживаешь?» прямо бы спросить:

– Ну как ты, Михайло, теперь с женой живешь? Перестала ли она мудрить, бунтовать?

Но, признаюсь, у меня на это нехватило духу: говорить с Михайлой о его жене – значит вспомнить те времена, когда мы, так называемые «хорошие господа», что-то такое хотели сделать по-хорошему с хорошими Михайлами и, вспоминая все это, зная, с горьким ощущением ясно сознаваемой вины на сердце, что из всего этого, начатого по-хорошему, ровно *ничего не вышло* до сих пор ни для нас, «хороших господ», ни для них, «хороших Михайлов». Вообще мы, «хорошие господа», и они, «хорошие Михайлы», как-то осрамылись за этот двенадцати-пятнадцатилетний промежуток времени и, осрамившись, решились существовать изо дня в день, немного привирая, немного сокрушаясь, немного фантазируя и затем опять-таки привирая понемногу, конечно всякий раз с глубоким вздохом.

И вот почему я не мог начать разговора с Михайлой так, как бы следовало начать. Дело Михайлы с женой чисто семейное, но оно обоим нам напоминает «те времена» и те взаимные влияния, под которыми мы в то время жили, то есть влияния «хороших Михайлов» на «хороших господ» и «хороших господ» на «хороших Михайлов»; мы в то время, и Михайлы и господа, – конечно, «хорошие», – жили исключительно хорошими впечатлениями, получаемыми друг от друга. Прошрое – нехорошее, темное, тяжелое – нам не вспоминалось; о будущем мы еще не думали как следует, а жили настоящим, зная, что оно хорошо, что нам, во-первых, надобно и, во-вторых, можно быть хорошими. Тогда для нас, «хороших господ» (нас тогда жила в деревне целая компания), не могло быть в деревне ничего дурного, все деревенские люди добры, все заслуживают полного уважения, волноваться какою-нибудь неприятною чертой в каком-нибудь неприятном деревенском человеке было просто глупо: что можно спрашивать с таких людей, которые, мы сами видели собственными глазами, трудятся в поте лица? Какая же тут критика со стороны нас, живущих без труда? Им нельзя не быть такими, они ни капельки не виноваты, – напротив, мы виноваты и должны делать для них все хорошее. Что собственно должны были бы мы «делать», мы не знали, но знали, что относиться к ним, как к самым уважаемым людям, было вполне обязательно – обязательно без всякого притворства и насилия над самим собою. Принимать всякого мужика лучше всякого городского

гостя, называть по имени, по отчеству, отнюдь не «торговаться» насчет грибов, подводы, дичи, ягод, отворять дверь всей деревне, когда в доме именины, елка или вообще праздник, – это тоже было непритворно-обязательно, а главное, приятно. Разговоры о школе, о необходимости дороги через болото, о ссудном товариществе, разговоры огромнейших размеров с широчайшим развитием задачи предприятия – тоже были задушевнейшие, отраднейшие и любопытнейшие. С другой стороны, и «хорошие Михайлы» были тоже довольны и чувствовали себя хорошо с нами: «приди, когда хошь, спрашивай везде»... «без торгу»... «по совести»... «не гнушаются нашим братом, мужиком»... «просто», – вот те черты, которые нравились, в нас Михайлам. «Дела» какого-нибудь существенного не было, но было что-то обоюдно хорошее, обоюдно снисходительное, ни капельки никому не обидное, напротив, одинаково заманчивое как для «хороших господ», так и для «хороших Михайлов».

Среди таких-то взаимных отношений между хорошими господами и хорошими мужиками *особенно* хорошими оказывались они между нами и Михайлой. И нам было «особенно» с ним хорошо, и ему «особенно» хорошо с нами. Он был такой же мужик, как и все, в таком же армяке и таких же лаптях, и с такою же, как у всех мужиков, бородой, но было в нем нечто и иное: он уже был грамотен, и грамота, очевидно, затронула его мысль, которой было уже над чем попрактиковать себя. Вследствие домашних затруднений он много лет жил в городах, много перетерпел, перестрадал, но в конце концов сохранил и на себя и на все виденное и пережитое им светлый и неодносторонний взгляд. Он мог судить «вообще», не жалуясь только на неправду относительно его самого. Вот эта-то черта, то есть возможность с Михайлой говорить «вообще», не чувствуя при этом неловкости разговора с рассуждающим писарем или дьячком и, к удивлению нашему, не замечая даже ни малейшего коверкания языка, – это и было первое, что особенно нравилось нам в Михайле, а затем понравились и его деликатность, покойная, невыдуманная, его «достоинство», никому не мешающее, и затем желание «жить почише, поблагодарней, потише, поумней». Он был мужик, но понимал мужиков больше, чем понимали их мы или даже сами они. И его ирония, спокойное, добрым голосом сказанное ядовитое словцо или характеристика были и умны, и просты, и приятны. С своей стороны и Михайле было хорошо и свободно с нами: мы поняли ведь, что именно в нем хорошо, поняли, что он умен, что он умно и хорошо думает, что есть в нем что-то, кроме лаптей и мужицкого армяка, – словом, поняли и оценили то, чего, быть может, никто в нем не ценил с тех пор, как он живет на свете. Из сторожа сельской школы он превратился в нашего сожителя, то есть он работал там на дворе, колол кое-какие дрова, но здесь, в комнате, был совершенно как «свой».

Другое *особенно* нам приятное и симпатичное лицо среди «вообще» хороших деревенских людей была Авдотья, молодая девушка, сирота, существо живое и милое. Она из замарашки с босыми ногами, из худенькой и оборванной нищенки-девочки на наших глазах превратилась в стройную, опрятную девушку, выучилась читать и писать вместе с «господскими» детьми, не забывая в то же время подметать пол, сказывать сказки, играть в горелки, работать самую черную работу и в промежутках учиться, добиваться возможности читать Некрасова, Григоровича. Было в ней все, что нам, «хорошим господам», могло быть приятно: было, во-первых, все крестьянское, начиная с проворных босых ног, с этих непрестанно работающих рук и кончая неизменно веселым настроением духа во всевозможного рода черном труде; было, кроме того, еще и другое, не крестьянское, именно пробужденная мысль, желание почитать книжку, желание узнать, «чем кончится» история, которую вчера читали вслух, – словом, было что-то, особенно нравившееся нам, все-таки еще городским жителям.

Под влиянием таких взаимных симпатий немудрено, что у всех нас должны были являться мысли о будущем Михайлы и Авдотьи. «Не выходить же Авдотье за мужика?» «Не жениться же Михайле на деревенской бабе?» Положим, что мужики и бабы деревенские были нам тогда «вообще» все очень симпатичны и приятны, но Михайло и Авдотья все-таки не то, что настоящие черноземные мужики и бабы. Им уж как-то иначе надобно жить, как-то

гораздо лучше, светлее и изящнее. А Михайло и Авдотья? Несмотря на то, что между ними не было еще и помина о каком бы то ни было сближении, раздумывая о своем будущем, они не могли не думать о нем точно так же, как и мы. Можно ли было Авдотье кончить замужеством с мужиком, хоть бы и богатым? Нет. Она уже знала, что «будет бить ее муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть»<sup>1</sup>, знала это, думала об этом и, разумеется, не могла не желать какой-нибудь иной перспективы. Да и Михайле, у которого, кроме мужицких мозолистых рук и мужицких лаптей, было еще что-то, в голове бродили какие-то размышления, едва ли улыбалось сожителство с самою несокрушимою в работе деревенской бабой; ему уж надобно было и человека, с которым «можно слово сказать». Благодаря таким отношениям и взаимным влияниям – не знаю с чьей стороны, с нашей или с ихней – возникла мысль о браке Михайлы с Авдотьей. Она как-то нечаянно явилась между всеми нами и никого ровно не удивила. Брак состоялся и именно во имя наших общих мечтаний: они будут жить «хорошо», умно, тихо, мирно. В это мирное, тихое, благообразное жите гораздо более нас верили сами Михайло и Авдотья. Михайло ее ни в чем не будет неволить; не такой он человек, чтобы, боже сохрани, тиранствовать или безобразничать над женой. Знает он мужика и мужицкий нор; он перенес все это на себе, и не то что повторять его над кем-нибудь, ему и вспомнить страшно о нем. И Авдотья вполне была уверена, что ее жизнь не будет похожа на жизнь истерзанной деревенской бабы: не такой Михайло человек.

«Хорошие господа» помогли Михайле завести лошадь и телегу, а он начал заниматься извозом, что дало ему полную возможность существовать безбедно. «Пока» было хорошо; оставшийся Михайле домишко, долгое время стоявший пустым, благодаря Авдотье преобразился совершенно и ожил; мы, «хорошие господа», заезжая к Михайле, всегда чувствовали себя чрезвычайно хорошо: светло в домишке, тепло, опрятно, уютно, весело. Картинка на стене из «Нивы», в шкафу вместе с чашками книжки – Некрасов, «Записки охотника»; угостят нас чаем – выйдет совсем не по-мужицки, а точь-в-точь так, как и мы сами угощаем Михайлу и Авдотью, когда они приезжают к нам: ни стеснения, ни низкопоклонства, ни раболепства, а самая простая, деликатная, человеческая ласка и внимательность.

Дальнейших перспектив, как я уже сказал, насчет продолжения «хорошего настоящего» ни у нас, ни у Михайлы никаких мало-мальски определенных еще не было. «Пока» теперь было «хорошо» и, вероятно, так же хорошо и будет. Но вот к нам, «хорошим господам», приехал становой пристав, приехал неведомо зачем, покурил папироску, извинился и уехал, и с этого дня мы уже стали понимать направление, по которому пойдет будущее «хороших господ», очертания «перспектив» стали нам делаться с каждым днем яснее и яснее, а по мере этой ясности нам становилось то обидно, то невыносимо, то ужасно, то гадко, то по-заячьи трусливо, малодушно-подло и вообще так худо, так скучно, что сначала мы съежились, потом загрустили, затем перебрались в город и так постепенно, «со ступеньки на ступеньку», дошли до теперешнего «тишайшего» влачения дней за днями, начинаемых, продолжаемых и оканчиваемых глубокими вздохами.

А Михайло и Авдотья остались в деревне совершенно без всякой перспективы. Сначала от них бывали письма – письма хорошие, приятные нам, потом они перестали писать. Потом чрез деревенских людей стали доходить слухи, что у Михайлы и Авдотьи неладно, нехорошо. И так пошло, что дальше, то хуже. Однажды кто-то принес известие: «Бьет он ее, Михайло-то», а в другой раз: «Пьет Михайло мертвую... в темной сидит». А что рассказывать стали про Авдотью, так это и сказать совестно.

---

<sup>1</sup> ...«будет бить ее муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть»... – перифраза из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.